

Светлана Алексиевич

Последние свидетели

(сто недетских рассказов)

Вместо предисловия

...одна цитата

«Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 годы) – погибли миллионы советских детей: русские, белорусы, украинцы, евреем, татары, латыши, цыгане, казахи, узбеки, армяне, таджики...»

Журнал "Дружба народов", 1985, № 5

...и один вопрос русского классика

«Когда-то Достоевский поставил вопрос: а найдется ли оправдание миру, нашему счастью и даже вечной гармонии, если во имя этого, для прочности фундамента, будет пролита хотя бы одна слезинка невинного ребенка? И сам ответил – слезинка эта не оправдает ни один прогресс, ни одну революцию. Ни одну войну. Она всегда перевесит.

Всего одна слезинка...»

«Он оглянуться боялся...»

*Женя Белькевич – 6 лет.
Сейчас – рабочая.*

Июнь сорок первого года...

Я запомнила. Я была совсем маленькая, но я все запомнила...

Последнее, что я запомнила из мирной жизни – сказку, мама читала ее на ночь. Мою любимую – о Золотой рыбке. Я всегда у Золотой рыбки тоже что-нибудь просила: «Золотая рыбка... Миленькая золотая рыбка...» И сестричка просила. Она просила по-другому: «По щучьему велению, по моему хотению...» Хотели, чтобы мы поехали на лето к бабушке, и чтобы папа с нами поехал. Он такой веселый.

Утром проснулась от страха. От каких-то незнакомых звуков...

Мама с папой думали, что мы спим, а я лежала рядом с сестричкой и притворялась, что сплю. Видела: папа долго целовал маму, целовал лицо, руки, а я удивлялась: никогда раньше он так ее не целовал. Во двор они вышли, держась за руки, я подскочила к окну – мама повисла у папы на шее и не отпускала его. Он оторвал ее от себя и побежал, она догнала и снова не пускает и что-то кричит. Тогда я тоже закричала: «Папа! Папа!»

Проснулись сестричка и братик Вася, сестричка смотрит, что я плачу, и она закричала: «Папа!» Выскочили мы все на крыльцо: «Папа!!» Отец увидел нас и, как сейчас помню, закрыл голову руками и пошел, даже побежал. Он оглянуться боялся.

Солнце светило мне в лицо. Так тепло... И теперь не верится, что мой отец в то утро уходил на войну. Я была совсем маленькая, но мне кажется, я сознавала, что вижу его в последний раз. Больше никогда не встречу. Я была совсем... совсем маленькая...

Так и связалось у меня в памяти, что война – это когда нет папы...

А потом помню: черное небо и черный самолет. Возле шоссе лежит наша мама с раскинутыми руками. Мы просим ее встать, а она не встает. Не поднимается. Солдаты завернули маму в плащ-палатку и похоронили в песке, на этом же месте. Мы кричали и просили: «Не закапывайте нашу мамку в ямку. Она проснется, и мы пойдем дальше». По песку ползали какие-то большие жуки... Я не могла представить, как мама будет жить под землей с ними. Как мы ее потом найдем, как мы встретимся? Кто напишет нашему папе?

Кто-то из солдат спрашивал меня: «Девочка, как тебя зовут?» А я забыла. «Девочка, а как твоя фамилия? Как зовут твою маму?» Я не помнила... Мы сидели возле маминого бугорка до ночи, пока нас не подобрали и не посадили на телегу. Полная телега детей. Вез нас какой-то старик, собирал всех по дороге. Приехали в чужую деревню, и разобрали нас по хатам чужие люди.

Я долго не разговаривала. Только смотрела.

Потом помню – лето. Яркое лето. Чужая женщина гладит меня по голове. Я начинаю плакать. И начинаю говорить... Рассказывать о маме и папе. Как папа бежал от нас и даже не оглянулся... Как мама лежала... Как ползали жуки по песку...

Женщина гладит меня по голове. В эти минуты я поняла: она похожа на мою маму...

«Моя первая и последняя сигарета...»

Гена Юшкевич – 12 лет.

Сейчас – журналист.

Утро первого дня войны...

Солнце. И необычная тишина. Непонятное молчание.

Наша соседка, жена военного, вышла во двор вся в слезах. Она что-то шепнула маме, но показала знаками, что надо молчать. Все боялись произнести вслух то, что случилось, даже тогда, когда уже знали, ведь кому-то уже успели сообщить. Но они боялись, чтобы их не назвали провокаторами. Паникерами. А это страшнее войны. Они боялись... Это я сейчас так думаю... И конечно, никто не верил. Что вы! Наша армия – на границе, наши вожди – в Кремле! Страна надежно защищена, неприступна для врагов! Это я тогда так думал... Я был пионер.

Крутили радио. Ждали выступления Сталина. Его голос был нужен. Но Сталин молчал. Потом выступил Молотов. Все слушали. Молотов сказал: «Война». Все равно еще никто не верил. Где Сталин?

Налетели на город самолеты... Десятки незнакомых самолетов. С крестами. Они закрыли небо, закрыли солнце. Ужас! Посыпались бомбы... Бесперывно слышались взрывы. Треск. Все происходило как во сне. Не наяву. Я уже был не маленький, я запомнил свои чувства. Свой страх, который расплзался по всему телу. По всем словам. Мыслям. Мы выскочили из дома, бежали куда-то по улицам... Мне казалось, что города уже нет, одни развалины. Дым. Огонь. Кто-то сказал: надо бежать на кладбище, потому что кладбище бомбить не будут. Зачем бомбить мертвых? В нашем районе было большое еврейское кладбище, со старыми деревьями. И все бросились туда, там собрались тысячи людей. Они обнимали камни, прятались за плитами.

Там мы с мамой просидели до ночи. Никто вокруг не произносил слово «война», я слышал другое слово – «провокация». Его повторяли все. Разговоры были, что вот-вот наши войска перейдут в наступление. Сталин дал приказ. И в это верили.

Но всю ночь гудели заводские трубы на окраинах Минска...

Первые убитые...

Первой... увидел убитую лошадь... Следом... убитую женщину... Это меня удивило. Я представлял, что на войне убивают только мужчин.

Проснусь утром... Хочу вскочить, а потом вспоминаю – война, и закрываю глаза. Не хочется верить.

На улицах перестали стрелять. Вдруг тишина. Несколько дней было тихо. И потом сразу началось движение... Идет, например, белый человек, весь от ботинок до волос белый. В муке. И несет на себе белый мешок. Другой бежит... У него из карманов падают консервные банки, в руках консервные банки. Конфеты... Пачки табака... Кто-то несет перед собой шапку с сахаром... Кастрюлю с сахаром... Не описать! Один тащит рулон ткани, другой идет весь обмотанный синим ситцем. Красным... Смешно, но никто не

смеется. Это разбомбили продуктовые склады. Большой магазин недалеко от нашего дома... Люди бросились разбирать то, что там осталось. На сахарном заводе несколько человек утонуло в чанах с сахарной патокой. Ужас! Весь город грыз семечки. Нашли где-то склад с семечками. На моих глазах прибежала к магазину женщина... У нее с собой ничего не было: ни мешка, ни сетки – так она сняла с себя комбинацию. Рейтузы. И набила их гречневой крупой. Потасила. Все это почему-то молча. Никто не разговаривал.

Когда я позвал маму, осталась одна горчица, желтые банки с горчицей. «Не бери ничего», – просила мама. Позже она призналась, что ей было стыдно, потому что всю жизнь она учила меня другому. Даже когда мы голодали и вспоминали эти дни, все равно ни о чем не жалели. Такая была моя мама.

По городу... По нашим улицам спокойно гуляли немецкие солдаты. Снимали все на киноплёнку. Смеялись. У нас до войны была любимая игра, мы рисовали немцев. Рисовали их с большими зубами. Клыками. А тут они ходят... Молодые, красивые... С красивыми гранатами, засунутыми в голенища крепких сапог. Играют на губных гармошках. Даже шутят с нашими красивыми девушками.

Пожилой немец тащит какой-то ящик. Ящик тяжелый. Он подозвал меня и показал: помоги. У ящика были две ручки, мы взялись с ним за эти ручки. Когда донесли, куда надо, немец похлопал меня по плечу и достал из кармана пачку сигарет. Вот, мол, плата.

Я пришел домой. Мне не терпится, сел на кухне и закурил. И не слышал, как стукнула дверь, заходит мама:

– Куришь?

– М-м...

– А сигареты чьи?

– Немецкие.

– Куришь, да еще вражеские сигареты. Это измена Родине.

То была моя первая и последняя сигарета.

Однажды вечером мама села возле меня:

– Мне невыносимо, что они здесь. Ты меня понимаешь?

Она хотела бороться. С первых дней. Мы решили искать подпольщиков, мы не сомневались, что они есть. Ни на минуту не сомневались.

– Я люблю тебя больше всех на свете, – сказала мама. – Но ты меня понимаешь? Ты меня простишь, если с нами что-нибудь случится?

Я влюбился в свою маму, теперь я слушал ее беспрекословно. И это потом осталось на всю жизнь.

«Бабушка молилась...

Она просила, чтобы моя душа вернулась...»

Наташа Голик – 5 лет.

Сейчас – корректор.

Я научилась молиться... Часто вспоминаю, как в войну я научилась молиться...

Сказали: война, я – и это понятно – в пять лет не воображала никаких картин. Никаких страхов. Но от страха, именно от страха, уснула. И спала два дня. Два дня лежала, как кукла. Все думали, что я умерла. Мама плакала, а бабушка молилась. Она молилась два дня и две ночи.

Я открыла глаза, и первое, что помню – свет. Яркий-яркий свет, необычайно яркий. Мне от этого света стало больно. Слышу чей-то голос, узнаю: это моей бабушки голос. Бабушка стоит перед иконой и молится. «Бабушка... Бабушка...» – позвала я ее. Она не оглянулась. Не поверила, что это я ее зову... А я уже проснулась... открыла глаза...

– Бабушка, – потом спрашивала я, – как ты молилась, когда я умирала?

– Я просила, чтобы твоя душа вернулась.

Через год умерла наша бабушка. Я уже умела молиться. Я молилась и просила, чтобы ее душа вернулась.

А она не вернулась.

«Они лежали на углях розовые...»

Катя Коротаяева – 13 лет.

Сейчас – инженер-гидротехник.

Расскажу о запахе... Как пахнет война...

До войны я окончила шесть классов. Тогда был такой порядок в школе, что начиная с четвертого класса, все сдавали экзамены. И вот мы сдали последний экзамен. Это был июнь, а май и июнь в сорок первом были холодные. Если у нас сирень цветет где-то в мае, то в тот год она цвела в середине июня. И вот начало войны у меня всегда связано с запахом сирени. С запахом черемухи. Эти деревья всегда пахнут мне войной...

Жили мы в Минске, и родилась я в Минске. Отец – военный капельмейстер. Я ходила на военные парады с ним. Кроме меня, в семье было еще два старших брата. Меня, конечно, все любили и баловали как самую младшую, да еще сестричку.

Впереди лето, впереди каникулы. Это было очень радостно. Я занималась спортом, ходила в Дом Красной Армии плавать в бассейн. И мне очень завидовали, даже мальчишки в классе завидовали. А я задавалась, что умею хорошо плавать. Двадцать второго июня, в воскресенье, должно было праздноваться открытие Комсомольского озера. Его долго копали, строили, даже наша школа ходила на субботники. Я собиралась пойти искупаться одной из первых. А как же!

Утром у нас было принято ходить за свежими булочками. Это считалось моей обязанностью. По дороге я встретила подругу, она мне сказала, что началась война. На нашей улице был много садов, домики утопали в цветах. Я подумала: «Какая война? Что она придумала?»

Дома отец ставил самовар... Не успела я ничего рассказать, как начали прибегать соседи, и у всех на губах одно слово: «Война! Война!» А назавтра в семь утра самому старшему брату принесли повестку в военкомат. Днем он сбегал на работу и ему отдали деньги, он получил расчет. С этими деньгами он пришел домой и сказал маме: «Я уйду на фронт, мне ничего не нужно. Возьми эти деньги. Купите Кате новое пальто». А я, как только перешла в седьмой класс, стала старшеклассницей, мечтала, что мне сошьют синее бостонское пальто с серым каракулевым воротником. И он об этом знал.

Я до сих пор помню, что, уходя на фронт, брат дал деньги мне на пальто. А жили мы скромно, дырок в семейном бюджете хватало. Но мама купила бы мне это пальто, раз брат просил. Ничего она не успела.

Минск стали бомбить. Мы переселились с мамой в каменный погреб к соседям. У меня была любимая кошка, очень дикая, дальше двора никуда не ходила, но когда начинали бомбить, и я убегала со двора к соседям, кошка – следом за мной. Я ее гоню: «Иди домой!», а она – за мной. Она тоже боялась оставаться одна. Немецкие бомбы летели с каким-то звоном, с воем. Я была девочка музыкальная, на меня это сильно действовало. Эти звуки... Это так страшно, что у меня были мокрые ладошки. В погребе с нами сидел соседский четырехлетний мальчик, он не плакал. У него только глаза становились большими.

Сначала горели отдельные дома, потом загорелся город. Мы любим смотреть на огонь, на костер, но страшно, когда горит дом, а здесь огонь шел со всех сторон, небо и улицы застилал дым. И местами – сильное освещение... От огня... Помню три открытых окна в каком-то деревянном доме, на подоконниках роскошные филокактусы. Людей в этом доме уже нет, только кактусы цветут... Было такое чувство, что это не красные цветы, а пламя. Цветы горят.

Мы бежали...

По дороге в деревнях нас кормили хлебом и молоком, больше ничего у людей не было. А мы – без денег. Я ушла из дома в платочке, а мама почему-то выбежала в зимнем пальто и в туфлях на высоких каблуках. Нас кормили так, даром, никто о деньгах и не заикался. Беженцы текли толпами.

Потом кто-то первый передал, что дорога впереди перерезана немецкими мотоциклистами. Мимо тех же деревень, мимо тех же теток с крынками молока мы бежали назад. Прибежали на нашу улицу... Еще несколько дней назад тут была зелень, тут были цветы, а сейчас все выжжено. Даже от столетних лип ничего не осталось. Все было выжжено до желтого песка. Куда-то исчез чернозем, на котором все росло, только желтый-желтый песок. Один песок. Будто стоишь возле свежевыкопанной могилы...

Остались заводские печи, они были белые, прокалились в сильном пламени. Больше ничего знакомого... Сгорела вся улица. Сгорели бабушки и дедушки и много маленьких детей, потому что они не убежали вместе со всеми, думали – их не тронут. Огонь никого не пощадил. Идешь – лежит черный труп, значит, старый человек сгорел. А увидишь издали что-то маленькое, розовое – значит, ребенок. Они лежали на углях розовые...

Мама сняла с себя платок и завязала мне глаза... Так мы дошли до нашего дома, до того места, где несколько дней назад стоял наш дом. Дома не было. Нас встретила чудом спасшаяся наша кошка. Она прижалась ко мне – и все. Никто не мог говорить... Даже кошка не мяукала. Несколько дней она молчала. Все онемели.

Увидела первых фашистов, даже не увидела, а услышала – у них у всех были подкованные сапоги, они громко стучали. Стучали по нашей мостовой. А мне казалось, что даже земле больно, когда они идут.

А сирень так цвела в том году... Черемуха так цвела...

«А я все равно хочу маму...»

Зина Косяк – 8 лет.

Сейчас – парикмахерша.

Первый класс...

Я окончила первый класс в мае сорок первого года, и родители отвезли меня на лето в пионерский лагерь Городище под Минском. Приехала, один раз искупалась, а через два дня – война. Нас посадили в поезд и повезли. Летали немецкие самолеты, а мы кричали: «Ура!» То, что это могут быть чужие самолеты, мы не понимали. Пока они не стали бомбить... Тогда исчезли все краски. Все цвета. Появилось впервые слово «смерть», все стали говорить это непонятное слово. А мамы и папы нет рядом.

Когда уезжали из лагеря, каждому в наволочку что-нибудь насыпали – кому крупу, кому сахар. Даже самых маленьких не обошли, всем давали что-то с собой. Хотели взять как можно больше продуктов в дорогу, и эти продукты очень берегли. Но в поезде мы увидели раненых солдат. Они стонали, им было так больно, хотелось отдать все этим солдатам. Это у нас называлось – «кормить пап». Всех военных мужчин мы называли папами.

Нам рассказали, что Минск горел, сгорел весь, там уже немцы, а мы едем в тыл. Едем туда, где нет войны.

Везли больше месяца. Направят в такой-то город, прибудем по адресу, а оставить нас не могут, потому что уже близко немцы. И доехали так до Мордовии.

Место очень красивое, там кругом стояли церкви. Дома низкие, а церкви высокие. Спать было не на чем, спали на соломе. Пришла зима, а у нас на четверых – одни ботинки. А потом начался голод. Голодал не только детдом, голодали и люди вокруг нас, потому что все отдавали фронту. В детдоме жило двести пятьдесят детей, и однажды – позвали на обед, а есть вообще нечего. Сидят в столовой воспитательницы и директор, смотрят на нас, и глаза у них полные слез. А была у нас лошадь Майка... Она была старая и очень ласковая, мы возили на ней воду. На следующий день убили эту Майку. И давали нам воду и такой маленький кусочек Майки... Но от нас это долго скрывали. Мы не могли бы ее есть... Ни за что! Это была единственная лошадь в нашем детдоме. И еще два голодных кота. Скелеты! Хорошо, думали мы потом, это счастье, что коты такие худые, нам не придется их есть. Есть там нечего.

Ходили мы с огромными животами, я, например, могла съесть ведро супа, потому что в этом супе ничего не было. Сколько мне будут наливать, столько я буду есть и есть. Спасала нас природа, мы были как жвачные животные. Весной вокруг детдома в радиусе

нескольких километров не распускалось ни одно дерево... Мы съедали все почки, сдирали даже молодую кору. Ели траву, всю подряд ели. Нам дали бушлаты, и в этих бушлатах мы проделали карманы и носили с собой траву, носили и жевали. Лето нас спасало, а зимой становилось очень тяжело. Маленьких детей, нас было человек сорок, поселили отдельно. По ночам – рев. Звали маму и папу. Воспитатели и учителя старались не произносить при нас слово «мама». Они рассказывали нам сказки и подбирали такие книжки, чтобы там не было этого слова. Если кто-то вдруг произносил «мама», сразу начинался рев. Безутешный рев.

Учиться я опять пошла в первый класс. А получилось так: первый класс я окончила с похвальной грамотой, но когда мы приехали в детдом и у нас спросили, у кого переэкзаменовка, я сказала, что у меня, так как решила: переэкзаменовка – это и есть похвальная грамота. В третьем классе я удрала из детдома. Пошла искать маму. Голодную и обессиленную, меня нашел в лесу дедушка Большаков. Узнал, что я из детдома, и забрал к себе в семью. Жили они вдвоем с бабушкой. Я окрепла и стала помогать им по хозяйству: траву собирала, картошку полола – все делала. Ели мы хлеб, но это был такой хлеб, что в нем было мало хлеба. Горький-горький. В муку намешивали все, что мололось: лебеду, цветы ореха, картошку. Я до сих пор не могу спокойно смотреть на жирную траву и ем много хлеба. Никак не могу его наесться... За десятки лет...

Сколько я все-таки помню. Много еще помню...

Я помню сумасшедшую маленькую девочку, которая забиралась к кому-нибудь на огород, находила норку и сторожила возле нее мышку. Девочка хотела есть. Я помню ее лицо, даже сарафанчик, в котором она ходила. Однажды я подошла к ней, и она мне... рассказала... Про мышку... Мы вместе сидели и караулили эту мышку...

Всю войну я ждала, что, когда кончится война, мы запрежем с дедушкой лошадь и поедем искать маму. В дом заходили эвакуированные, я у всех спрашивала, не встречали ли они мою маму. Эвакуированных было много, так много, что в каждом доме стоял чугунок теплой крапивы. Если люди зайдут, чтобы было им что-нибудь теплое похлевать. Больше нечего было дать. Но чугунок крапивы стоял в каждом доме... Я это хорошо помню. Я эту крапиву собирала.

Война кончилась... Жду день, два, за мной никто не едет. Мама за мной не едет, а папа, я знала, в армии. Прождала я так две недели, больше ждать не было сил. Забралась в какой-то поезд под скамейку и поехала... Куда? Не знала. Я думала (это же детское сознание еще), что все поезда едут в Минск. А в Минске меня ждет – мама! Потом приедет наш папа... Герой! С орденами, с медалями.

Они пропали где-то под бомбежкой. Соседи потом рассказывали – поехали вдвоем искать меня. Побежали на станцию.

Мне уже пятьдесят один год, у меня есть свои дети. А я все равно хочу маму.

«Такие красивые немецкие игрушки...»

Таиса Насветникова – 7 лет.

Перед войной...

Как я себя помню... Все было хорошо: детский сад, утренники, наш двор. Девочки и мальчики. Я много читала, боялась червяков и любила собак. Жили мы в Витебске, папа работал в строительном управлении. С детства больше всего запомнила, как папа учил меня плавать в Двине.

А потом была школа. От школы у меня осталось такое впечатление: очень широкая лестница, стеклянная прозрачная стенка и очень много солнца, и очень много радости. Было такое ощущение, что жизнь – это праздник.

В первые же дни войны папа ушел на фронт. Я помню прощание на вокзале... Папа все время говорил маме, что они отгонят немцев, но хотел, чтобы мы эвакуировались. Мама не понимала: зачем? Если мы останемся дома, он найдет нас скорее. Сразу. А я все повторяла: «Папочка, миленький! Только возвращайся скорее. Папочка миленький...»

Уехал папа, через несколько дней уехали и мы. По дороге нас все время бомбили, бомбить нас было легко, так как эшелоны в тыл шли через каждые пятьсот метров. Ехали мы налегке: у мамы было сатиновое платье в белый горошек, а у меня ситцевый красный сарафанчик с цветочками. Все взрослые говорили, что уж очень красное видно сверху, и как только налет, все бросались по кустам, а меня, чем только можно было, накрывали, чтобы мой этот красный сарафанчик не был виден, а то я как фонарь.

Воду пили из болот и канав. Начались кишечные заболевания. Я тоже заболела. Трое суток не приходила в сознание... Потом мама рассказала, как меня спасли. Когда мы остановились в Брянске, на соседний путь подали воинский эшелон. Моей маме было двадцать шесть лет, она была очень красивая. Наш состав стоял долго. Она вышла из вагона, и какой-то офицер из того эшелона сказал ей комплимент. Мама попросила: «Отойдите, я не могу видеть вашу улыбку. У меня дочь умирает». Офицер оказался военным фельдшером. Он вскочил в вагон, осмотрел меня и позвал своего товарища: «Быстренько принеси чай, сухари и белладонну». Вот эти солдатские сухари... литровая бутылка крепкого чая и несколько таблеток белладонны спасли мне жизнь.

Пока мы ехали в Актюбинск, весь эшелон переболел. Нас, детей, не пускали туда, где лежали мертвые и убитые, нас ограждали от этой картины. Мы слышали только разговоры: там столько-то закопали в яму, там столько-то... Мама приходила с бледным-бледным лицом, руки у нее дрожали. А я все расспрашивала: «А куда делись эти люди?»

Никаких пейзажей не помню. И это очень удивительно, потому что я любила природу. Запоминались только те кусты, под которыми мы прятались. Овраги. Почему-то мне казалось, что нигде нет леса, мы едем только среди полей, среди какой-то пустыни. Однажды испытала такой страх, что после него уже никакой бомбежки не боялась. Нас не предупредили, что поезд стоит десять-пятнадцать минут. Коротко. Поезд пошел, а я осталась. Одна... Не помню, кто меня подхватил... Меня буквально вбросили в вагон... Но не в наш вагон, а в какой-то предпоследний. Тогда я впервые испугалась, что останусь одна, а мама уедет. Пока мама была рядом, ничего не было страшно. А тут я онемела от страха. И пока мама ко мне не прибежала, не схватила в охапку, я была немая, никто от меня слова не мог добиться. Мама – это был мой мир. Моя планета. Если у меня даже что-то болело, возьмешься за мамину руку, и болеть перестает. Ночью я всегда спала рядышком с ней, чем теснее, тем меньше страха. Если мама близко, кажется, что у нас все

– как раньше дома было. Закроешь глаза – никакой войны нет. Мама только не любила разговаривать о смерти. А я все время расспрашивала...

Из Актюбинска поехали в Магнитогорск, там жил папин родной брат. До войны у него была большая семья, много мужчин, а когда мы приехали, в доме жили одни женщины. Мужчины все ушли на войну. В конце сорок первого получили две похоронки – погибли дядины сыновья...

Из той зимы еще запомнилась ветрянка, которой мы переболели всей школой. И красные штаны... По карточкам мама получила отрез бордовой байки, из нее сшила мне штаны. И дети меня дразнили «Монах в красных штанах». Мне было очень обидно. Чуть позже получили по карточкам галоши, я их подвязывала и так бегала. Около косточек они натирали ранки, так все время приходилось под пятки что-то подкладывать, чтобы пятка стала выше и не было этих ран. Но зима была такая холодная, что у меня все время подмерзали руки и ноги. В школе часто ломалось отопление, в классах замерзала вода на полу, и мы катались между партами. Сидели в пальто, в рукавичках, только обрезали пальцы, чтобы можно было держать ручку. Помню, что нам нельзя было обижать и дразнить тех, у кого погибли папы. За это строго наказывали. А ещё мы все много читали. Как никогда... Перечитали детскую библиотеку, юношескую. И нам стали давать взрослые книги. Другие девочки боялись... Даже мальчики не любили, пропускали те страницы, где писалось о смерти. А я читала.

Выпало много снега. Все дети выбегали на улицу и лепили снежную бабу. А я недоумевала: как можно лепить снежную бабу и радоваться, если война.

Взрослые слушали все время радио, без радио не могли жить. И мы тоже. Радовались каждому салюту в Москве, переживали каждое сообщение: как там на фронте? В подполье, в партизанах? Вышли фильмы о битве под Сталинградом и под Москвой, так мы по пятнадцать-двадцать раз их смотрели. Подряд три раза будут показывать, и мы будем три раза смотреть. Фильмы показывали в школе, специального кинозала не было, показывали в коридоре, а мы сидели на полу. По два-три часа сидели. Я запоминала смерть... Мама меня за это ругала. Советовалась с врачами, почему я такая... Почему меня интересуют такие недетские вещи, как смерть? Как научить меня думать о детском...

Я перечитала сказки... Детские сказки... Что я опять заметила? Я заметила, как много там убивают. Много крови. Это стало для меня открытием...

В конце сорок четвертого года... Я увидела первых пленных немцев... Они шли широкой колонной по улице. И меня поразило, что люди подходили к ним и давали хлеб. Меня это так поразило, что я побежала на работу к маме спросить: «Почему наши люди дают немцам хлеб?» Мама ничего не сказала, она только заплакала. Тогда же я увидела первого мертвого в немецкой форме, он шел-шел в колонне и упал. Колонна постояла и двинулась дальше, а возле него поставили нашего солдата. Я подбежала... Меня тянуло посмотреть на смерть вблизи, побыть рядом. Когда по радио объявляли о потерях противника, мы всегда радовались... А тут... Я увидела... Человек как будто спал... Он даже не лежал, а сидел, полускрючившись, голова немного на плече. Я не знала: ненавидеть мне его или жалеть? Это был враг. Наш враг! Не помню: молодой он или старый? Очень усталый. Из-за этого мне было трудно его ненавидеть. Я тоже маме об этом рассказала. И она опять плакала.

Девятого мая мы проснулись утром оттого, что в подъезде кто-то очень сильно кричал. Было еще совсем рано. Мама пошла узнать, что случилось, прибежала растерянная: «Победа! Неужели победа?» Это было так непривычно: война кончилась,

такая долгая война. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то кричал... Плакали те, кто потерял близких, радовались оттого, что все-таки это – Победа! У кого-то была горстка крупы, у кого-то – картошка, у кого-то – свекла – все сносили в одну квартиру. Я никогда не забуду этот день. Вот это утро... Даже к вечеру уже было не так...

В войну все почему-то говорили тихо, мне даже казалось, что шепотом, а тут все вдруг заговорил громко. Мы все время были рядом со взрослыми, нас угощали, нас ласкали и прогоняли: «Идите на улицу. Сегодня – праздник». И звали обратно. Нас никогда столько не обнимали и не целовали, как в этот день.

Но я – счастливый человек, у меня вернулся с войны папа. Папа привез красивые детские игрушки. Игрушки были немецкие. Я не могла понять, как могут быть такие красивые игрушки немецкими...

С папой я тоже попробовала заговорить о смерти. О бомбежках, когда мы с мамой эвакуировались... Как вдоль дороги по обе стороны лежали мертвые наши солдаты. Лица их были прикрыты ветками. Над ними жужжали мухи... Полчища мух... О мертвом немце... Рассказала про папу моей подружки, который вернулся с войны и через несколько дней умер. Умер от болезни сердца. Я не могла понять: как можно умереть после войны, когда все счастливы?

Папа молчал.

«Одна горсть соли... Все, что осталось от нашего дома...»

Миша Майоров – 5 лет.

Сейчас – кандидат сельскохозяйственных наук.

В войну я любил сны. Я любил сны о мирной жизни, о том, как мы жили до войны...

Первый сон...

Бабушка управилась по хозяйству... Я жду этого момента. Вот она отодвигает стол к окну, расстилает материал, накладывает на него вату, покрывает ее другим куском материала и начинает стегать одеяло. У меня тоже есть работа: с одной стороны одеяла бабушка вбивает гвоздики, к ним поочередно привязывает шпагат, который натирает мелком, а я натягиваю его с другой стороны. «Тяни, Мишенька, посильней», – просит бабушка. Я натягиваю – она отпускает: бах – и готова меловая полоска на красном или синем сатине. Полоски пересекаются, получаются ромбики, по ним побегут стежки черных ниток. Следующая операция: бабушка раскладывает бумажные выкройки (сейчас это называется трафаретом), и на сметанном одеяле появляется рисунок. Очень красиво и интересно. Моя бабушка мастерица и рубашки строчить, особенно воротники ей удаются. Ее ручная машинка «Зингер» работает и тогда, когда я уже сплю. И дедушка спит.

Второй сон...

Дедушка сапожничает. У меня и здесь есть дело – точить деревянные шпильки. Сейчас все подметки – на железных гвоздиках, но они ржавеют, и подметка быстро отваливается. Может, и тогда были уже в употреблении железные гвоздики, но я помню

деревянные. Из ровной, без сучков чурки старой березы нужно было напилить кружки и оставить сохнуть под поветью, потом наколоть брусочки толщиной около трех сантиметров и длиной сантиметров десять и тоже просушить. С этих брусочков легко скалывались поперечные пластинки толщиной два-три миллиметра. Сапожный нож острый, и им легко срезать кромку у пластинки с двух сторон: упрешь ее в верстак – жик-жик, и пластинка острая, а затем уже коли гвоздики-шпильки. Дедушка наколюшкой (такое сапожное шило) накалывает отверстие в подметке сапога, вставляет шпильку, стук сапожным молотком! – и гвоздь в подметке. Шпильки набиваются в два ряда, это не только красиво, но и очень прочно от влаги сухие березовые гвоздики только разбухнут и еще прочнее будут держать подметку, и она не отскочит, пока не износится.

А еще дедушка подшивает валенки, вернее, делает вторую подошву на валенках, они тогда дольше служат и можно в них ходить без галош. Или обшивает кожей задник валенка, чтобы в галошах тот скоро не протирался. Моя обязанность – сучить льняную нитку, смолить варом и вощить воском драгву, вдевать ее в иголку. Но сапожная штопальная игла – большая ценность, и поэтому дедушка чаще всего пользуется щетиной, самой обыкновенной щетиной с загибка дикого кабана, можно и с домашнего, но та мягче. У дедушки такой щетины – целый пук. Ею можно и подошву пришить, и маленькую латочку в неудобном месте: щетинка гибкая и где угодно пролезет.

Третий сон...

Старшие ребята в соседском большом сарае организовали театр, идет представление о пограничниках и шпионах. Билеты по десять копеек, а у меня нет гривенника, и меня не пускают, начинаю реветь: я тоже хочу «увидеть войну». Заглядываю тайком в сарай – «пограничники» там в настоящих гимнастерках. Спектакль потрясающий...

Дальше сны мои обрывались...

Скоро я увидел солдатские гимнастерки у нас дома... Бабушка кормила усталых и запыленных солдат, а они говорили: «Немец прет». Я стал приставать к бабушке: «А какие они, немцы?»

Грузим на телегу узлы, меня усаживают на них. Куда-то едем. Потом возвращаемся... У нас в доме – немцы! Они похожи на наших солдат, только в другой форме и веселые. Мы с бабушкой и мамой теперь живем за печкой, а дедушка – в сарае. Бабушка уже не стегает одеяла, дедушка не сапожничает. Один раз отодвигаю занавеску: в углу возле окна сидит немец в наушниках и крутит ручки радики, слышна музыка, потом четко по-русски... Другой немец в это время намазывал масло на хлеб, увидел меня и махнул ножом возле самого моего носа, я прячусь за занавеску и больше уже не вылезая из-за печки.

По улице мимо нашего дома ведут человека в горелой гимнастерке, босиком, со связанными проволокой руками. Человек весь черный... Потом я видел его повешенным возле сельсовета. Говорили, что это наш летчик. Ночью он мне приснился. Во сне он висел у нас во дворе...

Все помнится в черном цвете: черные танки, черные мотоциклы, немецкие солдаты в черной форме. Я не уверен, что все это было на самом деле только черным, но я так запомнил. Черно-белая пленка...

...Меня закутывают во что-то и мы прячемся в болоте. Весь день и всю ночь. Ночь холодная. Кричат страшным голосом незнакомые птицы. Кажется, что луна светит ярко-

ярко. Страх! А если нас увидят или услышат немецкие овчарки? Иногда долетал их хриплый лай. Наутро – домой! Я хочу домой! Все хотят домой, в тепло! Но дома уже нет, только груда дымящихся головешек. Обгоревшее место... После большого костра... Находим в золе ком соли, который всегда у нас лежал на припечке. Аккуратно собрали соль, потом и глину, смешанную с солью, ссыпали ее в кувшин. Это все, что осталось от нашего дома...

Бабушка молчала, молчала, а ночью заголосила: «Ах, моя ты хатка! Ах, моя ты хатка! Тут я в девках гуляла-а-а-а... Сюда сваты приезжали-и-и-и... Тут детей народила-а-а-а...» Она ходила по нашему черному двору, как привидение.

Утром я открыл глаза – мы спим на земле. На нашем огороде.

«И поцеловала в учебнике все портреты...»

Зина Шиманская – 11 лет.

Сейчас – кассир.

Я оглядываюсь назад с улыбкой... С удивлением. Неужели это было со мной?

В день, когда началась война, мы пошли в цирк. Всем классом. На утреннее представление. Ни о чем не догадывались. Ни о чем... Взрослые уже знали, а мы нет. Хлопали в ладоши. Смеялись. Был там большой слон. Слонище! Танцевали обезьянки... И вот... Высыпали мы весело на улицу – а люди идут зареванные: «Война!» Все дети: «Ура!» Обрадовались. Война нам представлялась так: люди в буденовках и на лошадях. Теперь мы себя проявим, поможем нашим бойцам. Станем героями. Я больше всего любила военные книжки. О боях, о подвигах. Всякие там мечты... Как я склоняюсь над раненым бойцом, выношу его из дыма. Из огня. Дома всю стенку над своим столом оклеила военными фотографиями из газет. Там – Ворошилов, там – Буденный...

Мы с подружкой удирали на финскую войну, а наши знакомые мальчишки – на испанскую. Война нам представлялась самым интересным событием в жизни. Самым большим приключением. Мы о ней мечтали, мы были дети своего времени. Хорошие дети! Моя подружка всегда ходила в старой буденовке, где она ее взяла, я уже забыла, но это была ее любимая шапочка. А как мы удирали на войну? Даже не помню на какую, наверное, в Испанию. Сейчас расскажу... Она осталась у меня ночевать, ну это, конечно, специально, а на рассвете мы вместе тихонько выбрались из дома. На цыпочках... Тс-тс... Захватили с собой какие-то продукты. А старший брат, видимо, уже следил, как мы последние дни шушукались, что-то пихали в мешочки. Во дворе догнал нас и вернул. Отругал и пригрозил, что выбросит из моей библиотеки все военные книжки. Весь день я плакала. Вот такие мы были!

А тут настоящая война...

Через неделю в Минск вошли немецкие войска. Самих немцев я не запомнила сразу, а запомнила их технику. Большие машины, большие мотоциклы... У нас таких не было, таких мы не видели. Люди онемели и оглохли. Ходили с испуганными глазами... На заборах и столбах появились чужие плакаты и листовки. Чужие приказы. Настал «новый порядок». Через какое-то время опять открылись школы. Мама решила, что война войной,

а прерывать учебу не надо, все равно я должна учиться. На первом уроке географичка, та самая, которая нас учила и до войны, стала выступать против советской власти. Против Ленина. Я сказала себе: учиться в такой школе больше не буду. Не-е-е-ет... Не хочу! Пришла домой и поцеловала в учебнике все портреты... Все любимые портреты наших вождей.

Немцы врывались в квартиры, кого-то все время искали. То евреев, то партизан... Мама сказала: «Спрячь свой пионерский галстук». Днем я галстук прятала, а ночью, когда ложилась спать, надевала. Мама боялась: а если немцы постучат ночью? Уговаривала меня. Плакала. Я ждала, пока мама заснет, станет тихо дома и на улице. Тогда доставала из шкафа красный галстук, доставала советские книжки. А моя подружка спала в буденовке.

Мне и теперь нравится, что мы такие были...

«Я их руками собирала... Они белые-белые...»

Женя Селеня – 5 лет.

Сейчас – журналист.

В то воскресенье... Двадцать второго июня...

Пошли с братом за грибами. Уже было время толстых боровиков-колосовиков. Лесок наш небольшой, мы там знали каждый кустик, каждую полянку, где какие грибы растут, какие ягоды и даже цветы. Где иван-чай, а где желтый зверобой. Розовый вереск... Уже возвращались домой, когда услышали громовой гул. Гул шел с неба. Подняли головы: над нами штук двенадцать-пятнадцать самолетов... Они летели высоко, очень высоко, я подумал, что раньше наши самолеты так высоко не летали. Был слышен гул: у-у-у!

Тут же мы увидели нашу маму, она бежала к нам – плачущая, голос срывался. Таким и осталось впечатление от первого дня войны – мама не зовет ласково, как обычно, а кричит: «Дети! Мои дети!» У нее большие глаза, вместо лица – одни глаза...

Через два дня, наверное, к нам на хутор зашла группа красноармейцев. Запыленные, потные, с запекшимися губами, они жадно пили воду из колодца. И как же они ожили... Как просветлели их лица, когда в небе появилось четыре наших самолета. На них мы заметили такие четкие красные звезды. «Наши! Наши!» – кричали мы вместе с красноармейцами. Но вдруг откуда-то вынырнули маленькие черные самолеты, они крутились вокруг наших, что-то там трещало, гремело. Станный звук доходил до земли... Как будто кто-то рвет клеенку или полотно... Громко так. Я еще не знал, что так издали или с высоты трещат пулеметные очереди. За падающими нашими самолетами потянулись красные полосы огня и дыма. Бабах! Красноармейцы стояли и плакали, не стесняясь своих слез. Я первый раз видел... Первый раз... Чтобы красноармейцы плакали... В военных фильмах, которые я ходил смотреть в наш поселок, они никогда не плакали.

Еще через несколько дней... Из деревни Кабаки прибежала мамина сестра – тетя Катя. Черная, страшная. Она рассказала, что в их деревню приехали немцы, собрали активистов и вывели за околицу, там расстреляли из пулеметов. Среди расстрелянных был и мамин брат, депутат сельского Совета. Старый коммунист.

До сих пор помню слова тети Кати:

– Они ему разбили голову, и я руками мозги собирала. Они белые-белые.

Она жила у нас два дня. И все дни рассказывала... Повторяла... За эти два дня у нее побелела голова. И когда мама сидела рядом с тетей Катей, обнимала ее и плакала, я гладил ее по голове. Боялся.

Я боялся, что мама тоже станет белая...

«Жить хочу! Жить хочу!...»

Вася Харевский – 4 года.

Сейчас – архитектор.

Эти картины, эти огни. Мое богатство. Это – роскошь, то, что я пережил...

Мне никто не верит, даже мама не верила. Когда после войны стали вспоминать, она удивлялась: «Ты не мог сам это запомнить, ты был маленький. Тебе кто-то рассказал...»

Нет, я сам помню...

Рвутся бомбы, а я цепляюсь за старшего брата: «Жить хочу! Жить хочу!» Боялся умереть, хотя что я мог тогда знать о смерти? Ну, что?

Сам помню...

Мама отдала нам с братом последние две картошины, а сама только смотрела на нас. Мы знали, что картошины эти последние. Я хотел ей оставить... маленький кусочек... И не смог. Брат тоже не смог... Нам было стыдно. Ужасно стыдно.

Нет, я сам...

Увидел первого нашего солдата... По-моему, это был танкист, вот это точно не скажу... Побежал к нему: «Папа!!» А он поднял меня на руки к небу: «Сынок!»

Я все помню...

Я помню, как взрослые говорили: «Он – маленький. Не понимает». А я удивлялся: «Какие странные эти взрослые, почему они решили, что я ничего не понимаю? Я все понимаю». Мне даже казалось, что я понимаю больше, чем взрослые, потому что я не плачу, а они плачут.

Война – это мой учебник истории. Мое одиночество... Я пропустил время детства, оно выпало из моей жизни. Я человек без детства, вместо детства у меня – война.

Так в жизни меня потрясла потом только любовь. Когда я влюбился... Узнал любовь...